19 апреля сего лета предал душу Богу поэт Михаил Ефимович Трофимов, о котором четверть века назад сочинил я очерк, что ныне, изрядно выправив, предлагаю читателям журнала «Сибирь».

Внимая пению пахотных мужиков, отхожих ремесленников, Федор Достоевский воскликнул с гордостью за русское простолюдье: «Ах вы сени, мои сени…» Поэт не ниже Пушкина…» Видно, разбередила народная песнь русофильскую душу Федора Михайловича, хотя песен эдаких, да и краше, мудренее, крестьяне знали уйму. А вспомним житийные сказы о святых угодниках и страстотерпцах, о великих исповедниках и чудотворцах; вспомним величавые былины о киевских и новгородских богатырях; вспомним мифы и легенды про таежную и полевую, омутную и домовую нежить; вспомним сказки и лубочные сатиры, что оглашали бродячие скоморохи; вспомним русские народные песни и душеутешающие плачи о преставившихся в Бозе…

В позапрошлом веке жила-была в северной деревушке великая сказительница и вопленица Арина Андреевна Федосова, по-житейски скудная, не ведающая азы, буки и веди; но с ее скорбных уст всесветно прославленный писатель-народовед Елпидифор Барсов[1], обмирая от восторга, азартно записал три тома поэм-плачей; ее, крестьянскую бабу, вдохновенно слушали Некрасов, Римский-Корсаков, Балакирев, Шаляпин, Пришвин, Твардовский и даже Горький, что крестьян сословно не жаловал. И дивные плачеи, бывальщики, баешники и бодяжники — словом, талантливые песельники и песельницы, сказители и сказительницы, хотя и не столь величавые и божественные подле Арины Федосовой, — все же в былые времена во всякой деревушке вопили, оплакивая покойного, сказывали былички, бывальщины, заливали байки, сыпали частушками на поляне. И, как писал я в очерке о Сергее Есенине, «тускнеет книжная поэзия, даже пушкинская, пред их мудрым словом, кружевным, резным, молвленным на завалинке, у русской печи при лучинушке, вопленным на свадьбе и погосте, на проводах рекрутов, спетом в братчинном застолье, в девьем хороводе. Не все они — сказители, певни, плачеи-вопленицы — созрели вровень по силе и красе слова, но и сомн великих породила земля русская».

Упаси Боже равнять Михаила Трофимова с крестьянскими сказителями — поэт он хоть и народный, потешно воспевший, но и оплакавший колхозное село, а все же читаемый с листа, не изустный, но вообразим, что на закате позапрошлого века Михаил Трофимов, пахотный крестьянин, коего азы, буки, веди страшат, яко медведи, живет в добротной сибирской деревеньке… скажем, в родимой Снегиревке… и кем поэт прослывет в той деревушке?.. Я, по отеческому кореню из зажиточной забайкальской родовы скотоводов и скотогонов, при добротной бабе выбился бы, ежли не в кулаки, то в многодетные хозяйственные мужики. А из

---

[1]*Елпидифор Васильевич Барсов (1 [13] ноября 1836 — 2 [15] апреля 1917) — русский историк литературы, этнограф, фольклорист, собиратель и исследователь древнерусской письменности, археолог, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1873), действительный член Императорского Московского археологического общества (1874), действительный статский советник (1885).*

Михаила сроду не вышел бы крепкий хозяин, что всем многочисленным семейством пашет от зари до зари, у которого и матерый дом пятистенок, и рубленные амбары, и в сусеках жита до краев, и под крышей проветриваются дохи, шубы и меха, и скотный двор полон животины, и чтящие отца, послушные ребятишки, и кроткая жена: да убоится мужа.

Не выбился бы Михаил и в кулаки, на коего робят батраки, а сам хозяин в яловых скрипучих сапогах ходит по сосновой хоромине о два жила и думает думу хозяйскую: эх, язви ее в душу, чего бы не упустить, поболе бы жита намолотить, да барышно сбыть.

Нет, из Михаила Трофимова не вышел бы расторопный деревенский хозяин, не то, видно, ссулил ему Господь в земной юдоли. Михаил… мне кажется, жил бы со своим гомонливым, неприхотливым, веселым семейством на вольном берегу реки, в косенькой, продуваемой насквозь, гниловатой избушке, в начале лета утопающей в черемуховом, яблоневом цвету. Тоже бы по-мужичьи робил, но без хозяйской хватки и сноровки, да к тому же всякое вольное время шатался бы в тайге, брал черемшу, голубицу и брусницу, бил орех, лепил бы деревенским ребятишкам глиняные дивы-свистульки, мастерил бабам берестяные туеса, плел тальниковые корзины и корчаги для ловли речных гольянов, попутно выплетая чудные байки и побаски. А женка бы ворчала: дескать, эвон люди-то живут — всего вдосталь, а тут перебиваемся с хлеба на квас, завтра — зубы на полку и по миру пойдем с холшовой котомой, дров ни лучины, а живёшь без кручины, шатун. Мужик бы отшутился: клен да береза, чем не дрова, хлеб да вода, чем не еда, и от греха подальше сунул бы исподтишка балалайку под полу армяка и пошел по приятельским дворам: где самодельные частушки-складушки пропоет, где завиральную байку зальет, где таежную бывальщину поведет, и за то хозяин сказителю медовую чарку нальет, а хозяйка ребятишкам гостинец сгоношит. Худобожии бы кулаки косились на балагура и сухо сплевывали: «Ботало осиново…», а зажиточные, но боговерущие мужики глядели бы с покаянным почтением, как глядят на блаженных, сидящих на церковной паперти, а уж сердобольные бабы взирали бы со слезливой жалью…

Словом, вышел бы из Михаила Трофимова деревенский балагур и баешник, а может, и сказитель, и гужом валили бы на его подворье шустрые студенты аж из белокаменной столицы, писать былички и бывальщины, песни и побаски, да и сам сибирский говор. Так бы оно и случилось, но поэт рос и матерел на позднем и печальном закате величавого устного слова, потесненного и вытесненного книжным, а посему и, распираемый сказительным даром, смалу бредил стихотворством, смолоду выучился на поэта в литературном институте, и пошел по миру со стихами.

Я не пытался дотошно исследовать полную мучительных противоречий житейскую и творческую судьбу Михаила Трофимова; не пытался постигнуть его душу, где извечное поле брани света и тьмы; я изобразил поэта, узрев лишь добрые свойства его крестьянской души, воплощенной в лирике.

* * *

Михаил Трофимов — не узко сибирский поэт, эдаких пруд пруди, Трофимов — русский народный поэт, и редчайшее право величаться народным сполна заслужил творчеством, что сродни народным устным сказам. Недаром Трофимовские

поэмы и стихи звучали натуральнее, живее, когда их прилюдно сказывал сам поэт. Борис Шергин, величавый мастер народного сказа, однажды молвил: «Русское слово в книге молчит... Напоминают ли нам о цветущих лугах засушенные меж бумажных листов цветы?..»

В годы благие для русской лирики, когда стихам душевно внимали, обретая любовь к родимой земле и земляку, Михаил Трофимов принародно читал стихи, и я видел, умиляясь, с каким радостным дивлением горожане и селяне, старые и малые слушали бесхитростное, но живое сибирское слово, вспоминая, узнавая, открывая утешные и потешные, милые сердцу виды деревенской жизни.

В отрочестве облысевшие от излишнего ума, высоколобые законотворцы-западники два века кряду упорно навязывали художникам слова, цвета и звука мнение, опасное для русского искусства: мол, не в лаптях и сарафане, господа, народность русская, а — в ярком освещении народной тьмы светом европейского просвещения. Славянофилы же узрели народность искусства в глубинном постижении русского характера, в душевной способности художника искренно сострадать ближнему, переживать за народ и Отечество, перстом указуя дорогу ко Храму Господню. Эдакие дарования, разумеется, похвальны, но и без лаптей и сарафана скучно, словно расхожую русскую частушку поешь не под гармонь и балалайку, а с высокой университетской кафедры пересказываешь научно-скучным пресным языком: мол, некий деревенский муж… очевидно, вероятно, дурак… отпустил большую бороду, и проблема в том, что любимой жене трудно найти в бороде губы, чтоб поцеловаться. А частушка, что пела Лидия Русланова, коротка и ярка: «Ох, девки, беда, куды мне деваться, по колено борода, негде целоваться…».

Книгочей, искушенный в чужеземной и здешней русскоязычной поэзии, дивом дивным глянет в трофимовскую книжку, скосоротится: псевдуха — псевдорусская стилизация под деревенскую темь, а русская народность, говаривал Виссарион Белинский, не в лапте и квасе, но в способности усмотреть и мастерски обличить пороки русские. Почитайте у Гоголя «Мертвые души»… А вы, убогие, серьмяжные, куда прете с хомутами и подойниками, с говором выживших из ума стариков, безграмотных мужиков и дурковатых баб?!

Забившие умы бунтарскими книжонками, близоруко узревшие в деревенской жизни лишь пропахшие потом мужичьи порты и онучи, не увидевшие красы и мудрости в золотистой хлебной ниве и в хоромной избе, воплотившей вселенную, горемычные обличители из прокуренных журнальных кабинетов не осознали, что без народного речения не оживет и народный дух в сочинении; а коль испокон веку народ наш крестьянский, то, выражая народ, как же поэту обойтись без крестьянского говора, без корневого русского слова?!

Не говоря уж о русскоязычных, даже и среди сочинителей русских по духу народилась уйма писателей книжных, чьи сочинения, писанные порой и затейливо, мудро, похожи на переводы с иноплеменного наречия, похожи на сквозной березняк с опавшими листьями и увядшей сивой травой; и сочинения сии порождают в русском книгочее языковую нерусскость, при сем искажая и обедняя образ родного народа, в позапрошлом веке сплошь крестьянского. И таится в сем опасность великая: отвадившись от корневого русского слова, русаки и от духа народно-православного убредут в духовные потемки.

Можно по-всякому относиться к поборникам древлеотеческого православного обряда, но с какой болью и духовной страстью опальный протопоп Аввакум в огненных письменах царю Алексею Михайловичу оборонял от засорения исконный

русский язык: «Не позазрите просторечию нашему, люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить. Небрегу о красноречии. Не уничижаю своего языка русского... Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев... Вздохни-тко по-русски. Ведь ты, Михайлович, русак, а не грек».

* * *

Слушаешь стихи Михаила Трофимова… Неприхотливая, игривая и говорливая речушка вдоль деревни бежит, кружит, и чудится, сочинил их не стихотворец, подученный в столичном институте, а выплел на завалинке сельский краснобай, настращал бывальщиной, потешил лихой частушкой:

«За щекой словцо лежит, /рот разину побежит... /Сочинял пока зачинку, / Сапоги отдал в починку. / Я б не только написал, / Я б и спел, / И подплясал. / Я б для каждой нашей девки / Спел особые припевки, / Разведенку-вдовушку / Веселил бы / Вволюшку: / Знаю сорок /Тараторок /Басенки / И песенки - / Все бы спел на лесенке. / И гармошка мне дана / Голосом красивая,/ Да за плечом / Стоит жена,// За плечом — / Ревнивая. / А у тещи / Есть корыто, / Есть на улицу окошко, / Чтобы глянула сердито, / Если я пройду / С гармошкой — / Теща мне / Вторая мать: / Грозит гармошку разломать. / Требует неистово, /Чтоб ходил с транзистором».

Русский народный поэт Михаил Трофимов... Повторил величавый запев и споткнулся: а вдруг смутит и обидит собрата эдакое величание? Вдруг подумает: пустобайство… усмешка… либо грубая лесть, когда за пазухой таятся корыстные помыслы. А потом и привиделось вдруг, как отмахнулись удивленные и возмущенные брови столичных критиков: мол, ведаем, жил в Иркутске Вампилов-гений, живет Распутин-гений, а Трофимов… — пожмут плечьми, — книг его видом не видывали, имя его слыхом не слыхивали, а тут ишь чего загнул: русский да еще и народный... не слишком ли?!

Однажды, при рабоче-крестьянской власти, в Иркутск шалым ветром занесло паренька из «Литературной газеты»; прилетел в сибирское глухоморье посмекать поэтические дарования и случайно наткнулся на меня, а коль сам я ходил в середняках, то и поволок столичного гостя к Трофимову, да еще и посулился: мол, познакомлю тебя, братец, с народным поэтом — коренник в здешней писательской упряжке.

И побрели мы с московским гостем по снежному Иркутску. А уж синеватый стылый вечер притуманил город... Возле собора Богоявления дворник… распахнутый ямщичий полушубок, лохматый малахай, морозный румянец на щеках, веселый погляд… Дворник тот разметал снег на церковной паперти, заправски широко и вольно отмахивая метлу… раззудись плечо, размахнись рука… словно не снег мел, а валил косой росную траву.

— Вот он... народный поэт Михаил Трофимов… а по совместительству церковный сторож и дворник.

Московский гость смутился: талантливый поэт, и вдруг — сторож, дворник… Вообразил Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину с дворницкой метлой…

Потом мы пили чай в церковной келье, любовались трофимовскими докрасна обожженными глиняными потешками; и помню, меня дивило и радовало: Михаил Трофимов не стеснялся, что добывает хлеб насущный метлой и сторожбой, хотя

и сам Распутин почитает его за народного поэта. А вот я, промышляя тем же ремеслом и ночами сочиняя повести, жутко стеснялся дворничества, и бросал метлу в кусты, коль примечу знакомцев — стыдно, все же писатель, и книжка в Москве вышла в свет.

Столичный гость испил крепкого чаю с богородичной травой, с печатным пряником, подивился трофимовским частушечным стихам, поцокал языком, вертя глиняные потешки, насулил поэту с три короба, да и укатил, и ни слуху, ни духу. Обнадежил мужика, да и забыл, гусь московский, про посулы народному… дворнику.

А я с досады записал в дневничок:

«...На руках бы носить народных писателей, а мы и признавать-то не желаем и посмертно, и пожизненно: примитивно, убого, устарело, славянофильские кислые щи да лапоть. Так мы не осознали чудо-сказочника Степана Писахова, коего севернорусский писатель Федор Абрамов вознес выше Андерсена, так же не разглядели… недосуг было в честолюбивой суете… Бориса Шергина, коего, опять же, Абрамов да писатель Личутин повеличали волшебником русского слова, иконой в русской литературе, лучшим писателем, жившим тогда в Москве. И Шергин, и Писахов дожили свой век в забвении и нищете, хотя и не сетуя на судьбу, дабы не гневить Бога, и не загадывая иной доли. Видимо, чтобы голос не засалился в житейской сытости, не охрип в ревучей тщеславной колготне, Господь оберег сынов-избранников от искушения славой и богатством, оставил на весь век среди голытьбы, чтоб не забыли жизнь простолюдина с радостями и горестями, с нуждою и надеждой».

Сколь дарований подобно Трофимову прозябают по городам и весям, облачаются небесами, подпоясываются алыми зорями, застегиваются белыми звездами. Да уж Бог с ним, с нищенском житьем-бытьем и земным бесславием, жаль, что произведения талантливых самородков из простолюдья ведомы лишь собратьям по ремеслу да и то редким, избранным, и мало ведомы воспетому народу. Помню, когда стихи покойного Анатолия Горбунова, что по молодости дружил с Михаилом Трофимовым, посмертно вышли в «Нашем современнике», главный редактор журнала Станислав Куняев, удивившись их вещей силе и красе, покаялся, что недооценивал поэтический талант Анатолия Горбунова, хотя стихи его от случая к случаю украшали журнал. Слово покаянное журнальные редакторы могут сказать и о поэзии Михаила Трофимова… И выходит, что мы, равнодушные к издательски и житейски робким, простонародным художникам, русскую народную душу обворовываем, красоту и совесть в чердачных сундуках гноим!..

Прожив в деревне за Байкалом четверть века, вдосталь наслушавшись степных и таежных, речных и озерных говоров, где через слово да всякое слово мудрая поговорка, прибаутка, природный образ, потом в университете и самоуком постигая великую устную поэзию, — поэмы Михаила Трофимова читал и слушал, как народные сказы, дивился и даже, признаюсь, завидовал белой завистью, чуя, что скудно прикопил я в загашнике народной речи, и, однако, не владеть мне коренным русским словом так легко и натурально, как Трофимов. Но, не иссыхая от злобной ревности, дивясь и радуясь трофимовскому крестьянскому дару, я как уж мог служил ему, и сей очерк, без малого четверть века доводя до ума, пропечатал во многих газетах и журналах, и, конечно, сожалел, что слишком редко издавались книги Михаила Трофимова, а бойкие собратья не подсобляли — пекли свои книжки, как блины на масленицу, жаль, что из сорной муки и непропеченные.

Нынче я думаю, что в сем и винить-то некого, — народный стихотворец так укротил свое тщеславие, что заради издательской судьбы палец о палец не ударит, а какой дурак будет за него обивать пороги у властей и богачей, добывая деньжата на издания?! Мне чудится, Михаил подолгу забывает, что явился в сибирский мир поэтом, проживая жизнь лесной и полевой птицей, что поет задаром, не сеет и не жнет, плывет сосновыми борами и березовыми колками, плещет крылами в поднебесье, счастливая от небесной воли и земной красы.

* * *

Увы, русские журнальные редакторы да критики не баловали поэта привечанием — в большинстве своекорыстны, пасут именитых, жадно гложат, словно мозговую кость, и если на Руси вчерашней, нынешней и открывали поэтов-самородков, то лишь сами писатели, те же именитые, а уж потом критики, бывало, спохватятся и взвоют заздравную песнь, хотя уж приспела пора петь заупокойную. Верно сказал Валентин Распутин о творчестве доброго сибирского писателя Алексея Зверева, что и к Михаилу Трофимову вполне подходит: «Критика наша, надо признать, довольно неповоротлива. Она как в святцы заглядывает в одни и те же имена, по которым и судит о состоянии всей литературы. Литература между тем и полнее и глубже, и при всей несвежести сравнения ее с айсбергом, оно, однако же, остается достаточно верным: то, что попадает в поле критического внимания, есть лишь малая часть действительной мощи нашей литературы. Там, в глубинах и на просторах России, многие писатели чутко и верно улавливают происходящие в обществе духовные и нравственные движения и говорят о них с болью и верой, говорят честно. И талантливо. И дело тут не в похвалах, которыми они обделены, а в том, чтобы высокую и чистую проповедь их книг знал и понимал наш, так называемый, большой читатель. И все-таки дело не в оценках, а в том, что делает писатель сам, как он работает, и, в конце концов, я считаю, что сделанное не останется втуне и все равно дойдет до читателя. Это гораздо лучше, если сравнить с судьбой тех писателей, которые делают мало и хуже, а славу имеют большую...»

К слову сказать, Алексей Зверев и Валентин Распутин, как и Михаил, выходцы из сельского простонародья, любили трофимовские поэмы и стихи.

Попрекнув русскую критику, скажу, что на Михаила Трофимова все же набрел критик Валентин Курбатов, учуял испоконный дух трофимовской поэзии и отважился, не заглядывая в критические святцы, написать о том в предисловии к сборнику стихов поэта. Хотя и Валентин Курбатов приступался к трофимовской лирике с опаской и оглядкой: «Я не знаю, как читал бы стихи Трофимова, не встречаясь с ним. Вероятно, мелькнула бы тень смущения — не притворна ли его старомодная крестьянски простая муза, можно ли жить народной речью и мыслью естественно даже и посреди нынешней, отведавшей городского телевидения деревни, не то что в самом Иркутске, с чеховских дней отмеченном интеллигентностью. Показалось бы, возможно, что поэт или достаточно стар или сложился в пору Дрожжина или Прокофьева, или немного играет в милую сердцу недавнюю деревенскую песенно-частушечную культуру и тем в общем сберегает ее лад, чтобы этот лад не позабылся вовсе».

Приятельство с поэтом, долгие вечера в трофимовской избушке на Байкале убедили критика, что лирическое слово и житейская судьба поэта не разнятся, как

случается в писательском мире: «Может быть, это и есть наиболее существенный вклад в сибирскую лирику, что он в русской природной поэзии, в распевном ладе русского поля и леса так полно услышал голос сибирской тайги в ее простой, будничной, незримой стороннему глазу жизни и написал ее любовно и благодарно, с истинно народной естественностью».

И после эдаких величаний не кинулись критики, сломя голову и сшибая друг друга, искать книги Трофимова, чтобы наперебой писать о лирике сибирского самородка — не вышло эдакого чуда, не судьба, а судьбу и на кривой кобыле не объедешь. В благой для поэзии застой не углядели, а ныне и подавно; ныне вопли сатаны остатнюю душеньку из народа вытрясли, какая уж там тихая сельская лирика… Но говаривали безунывние русаки: не наполним озера слезами, не утешим супостата печалью.

* * *

Прикочевал я в губернский город из лесостепного Забайкальского края, и стихи Трофимова умиляли, тешили мою сельскую душу; а вначале восьмидесятых, сравнивая Михаила с модным русскоязычным поэтом, записал я в амбарной книге: «Читаешь стихи N. и дивишься: ловко вьются строки, словно табачный дым над резной трубкой, но читаешь затейливые дымные строфы и чуешь: молчит душа виршеплета, дурит книгочея поэт-пустоцвет; и зришь сквозь словесную мглу стихотворца… Смоляная борода, черная трубка в бороде, глаза в студеной поволоке… восседающего в креслах посреди книг, икон и голых краль — карточек с нагими, в серой дымке, косматыми дивами. У Трофимова же русская душа и поет, и плачет от любви к земляку и благословенной русской земле:

Землицу-мать сосет царевна рожь,
И вся земля — раскрытая душа,
Как с дерева, с меня стекает дождь,
С работушки иду я не спеша.
Засветит ночь счастливую звезду,
Девчата песню старую споют —
Земля в цвету, земля моя в меду,
Родное поле и родной приют.

* * *

В лирике Михаила Трофимова в счастливом ладу, безнатужно и природно крестьянский лубочный дух и песенная, сказовая деревенская стихия, что еще вечор жила на слуху, обитающая вечно зеленой кроной духа и художества в синих небесах, ангельских, архангельских и херувимских, а корнями — в славянском, поэтически величавом изначалье, в простудушном и прекраснодушном слиянии русских крестьян с отцом-небом и матерью-землей.

...Помню, едва признакомились, Михаил сманил меня в байкальский кедрач на добычу кедрового ореха. Прикатили мы на электричке из Иркутска в Култук, где трофимовская изба ютилась в тесном таежном распадке, возле студеного ручья, утаенного в зарослях курильского чая и тальника. По свету и до потемок копали картошку в лесном огороде, потом пили рябиновую настойку, прозванную трофимовкой, и до рассветных петухов слушал я таежные побаски, кои Михаил забавно довершал.

— Короче, ближе к ночи добыли мы… три... четыре... пять кулей кедрового ореха. — А про дикорослые ягоды так говаривал: набрали три... четыре... пять ведер брусники... черники... голубики.

Чуя наколоченные нами три… четыре… пять кулей кедрового ореха, я хмельно и завороженно слушал Михаила — таё-ёжник, таёга; но когда утром, наскоро испив чая, полезли в кедрач на крутой хребет в отрогах Хамар-Дабана, я доспел: Михаил, бывалый таежник, ныне — не столь таёга, сколь таежный поэт: в хребетину скреблись — блудили, в кедраче — кружили, теряя таборное костровище, и, спускаясь с хребта, груженные некорыстным орехом, — вновь заплутали. По-первости, смехом горланил я на всю тайгу:

— Куда ты ведешь нас, проклятый старик!? Кругом не видать не зги…

Потом, выбиваясь из последней моченьки, обливаясь жарким потом, раздраженно ворчал. С горем пополам забрались в кедрач, Михаил, о ту безбожную пору очарованный славянским язычеством, велел: давай, Толя, просить таёжного хозяйнушку. Я застеснялся — не приважен скоморошничать, да и, в охотку слушая былички про избяную, водяную и таежную незримую силу, не верил я в домовых и баннушек, в леших и кикимор. Михаил же, отметнув руки к вершинам матерых кедрин, смиренно закатив глаза, повел сиротским голоском:

— Хозяйнушко, батюшко, дай нам маленечко орешков — детишков отпотчевать, самим побаловаться...

По вершинам дубнякового кедрача прошумел ветер-верховик — вздохнул хозяйнушко кедровый, усмехнулся в сизую замшелую бороду: н-но, паря, вы бы еще по снегу приперлись… артисты. Спохватились... Тут уж до вас мамай прошел… Разве что, дубняк проколотите — с его орех поздно идет, да по оборышам с полкуля добудете, и то ладно.

Затаборились на сухом взлыске неподалеку от говорливого ключа, худо-бедно по кулю шишек все же набили с измочаленных колотом старых кедрин, а ночью… едва задремали… повалил снег. Я проснулся от пробирающей до костей сырой стужи, и увидел, словно в зачарованном сне: вокруг белым-бело, а Михаил, в багровых отблесках похожий на древнего жреца, колдует над кострищем, шуруя в огонь сушняк, и звездной россыпью летят в снежную замять красные искры…

Хоть и не фартовым вышел заход в кедрачи, хоть и блудили, но в памяти осело лишь отрадное, счастливо волнующее душу: мягкая темь вокруг жаркого костра, таинственный шум поднебесных вершин, старческие хрипы, скрипы кедрового дубняка, душистый, с брусничным листом чай и веселящие душу побаски, завораживающие охотничьи бывальщины, кои Михаил фартово добывал из своего широкого загашника.

Но самое отрадное, что по соседству с Мишей присмотрел я избушку, что лицом взирала на ручей, заросший желтоватым курильским чаем, а спиной, словно к печному боку, жалась к лесистой хребтинке, на кою вздымешься — и хлынет в глаза прохладной синевой батюшка Байкал…

* * *

Земляки в рабоче-крестьянском царстве-государстве пели величаво: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой…», но про Михаила Трофимова, да и про помянутого русского поэта Анатолия Горбунова, не скажешь: вышли из народа — Горбунов и Трофимов не вышли; бились, колотились, да так и не вышли из

народа, так в народе и остались жизненным ладом и укладом. Михаил, былой житель красноярского села Снегиревка, как уродился пареньком таежным, полевым, потешным и беспечным, по-отрочески хвастливым и обидчивым, таким и остался до редеющих, седеющих кудрей. Его, ныне уже пенсионера, художники и писатели ласково величают Мишей. Разве что заматерел да земляной, древесной силушкой налился, не увядшей к пожилым летам, поскольку сроду не протирал штаны за письменным столом, но вечно промышлял в тайге, обихаживал землю, пилил, колол дрова, городил заборы, ладил усадьбу на Байкале, писал стихи на колене и на пне, ел вполсыта, пил вполпьяна — проживет век дополна; и, разумеется, любил побалагурить, залить байку, потешку, быличку, пропеть частушку. О своем безунывном характере Михаил Трофимов и поведал в простодушной поэме «Свадьба»:

«...Я в село родное верил / И его аршином мерил... (...) /По своей Руси хожу / С русскою гармошкой, / Прибаутки горожу / Хвастаюсь немножко, / Чтоб судьбе / И всем на зависть / Легкой жизнь моя казалась.(...) / Веселиться я умею, / Может, скоро поумнею, / Стариком бы мне /Родиться, // Рассуждать бы научиться — / Я писал, / Хоть бедовал, / Рот булавкой зашпилял.../ Чтобы силушки хватило, / Мне / Моя звезда светила / Всяку ночь в мое окно».

* * *

Михаил Трофимов — мастер глиняных игрушек: замершая в глине причудливая сельская жизнь… Которые давно красуются в домах приятелей — художников и писателей, где их по-свойски величают глиняшками. Игрушки, смахивающие на сосновые наросты-капы, на топорно рубленных славянских идолов, напоминают трофимовские побасенные вирши, что народились в глине, а не в слове. Опять же, как обмолвился поэт, случалось, и стих, и рыжая потешка выспевали разом... Вот осадистая баба с подойником подле мычащей в небо приземистой коровы; вот корявый мужичок, наяривающий на саратовской гармошке — «нос редиской, рот корытом, голова соломой крыта; криволапый, кособрюхий, полоротый, вислоухий; маменька косматая, за кого просватала...»; вот «девчоночки-беляночки попадали на саночки» — вроде, со свадебного поезда — и заголосили на всю улицу, весело плача по невесте…

«Колокольчик / В лад гармошке / Прокатился по дорожке. / Двое саней /С козырями, / Двое с вычурами, / А невеста / Рядом с нами — / Брови вычернены. / Мы невесту, / Как царевну, / Через всю везем деревню...»

От стиха веет родимой волюшкой, деревенскими дворами и березовой околицей, Русью многорадостной и многогорестной, на былину и на сказку, на вопль, на страдание, на частушку-тараторку, потешку-байку завсегда гораздой.

«Под копытом / Синий бус — / Вот она, родная Русь, / Снег до боли / Синий-синий, / И поддужный синий звон, / Ой, ты мать моя Россия, / С четырех лежишь сторон, / Под высоким пологом, / По жнивью да по логу...»

Гляжу на глиняные потешки, что дарил мне Михаил по дружбе, гляжу и дивлюсь: сколь в ядреной бабе с коровой, в криволапом медвежалом, толстоносом мужике с гармонью природного кондового здравия; сколь в глиняных свистульках, свиристелках, словно в сибирских байках, игривой, причудливой выдумки и… натуральности, словно потехи сами собой народились из глины. Либо археологи вырыли из древних скифских захоронений, либо старосельский мужичонко шу-

тя-любя-играючи, между делом вылепил игрушки под вечерний сказ, под доку-ки-небылицы, не загадывая глиняным поделкам заманчивой судьбы, раздаривая их с пылу и жару, абы народ увеселить, чтобы отеплило и рассвело в темнеющих и холодеющих, стареющих до срока, скучающих сердцах, чтобы проснулся и взыграл в душах изначальный русский дух.

Игрушки Михаила Трофимова напоминали мне воплощенные в глине завиральные сказы Степана Писахова, архангельские побаски Бориса Шергина, вологодские бухтины Василия Белова, либо чалдонские[2] байки — ангарские, ленские, енисейские, но, перво-наперво, потешки были созвучны детским стихам Трофимова, с коими выросли уже три поколения ребят-сибирят.

«Рыжая кошка /Играла на гармошке. / Но пришла задира рысь / И сказала кошке: / — Брысь! / Я ведь тоже кошка. / Где моя гармошка?»

«Раз, два, три, четыре, / Жили в озере чупыри, / Чупыриха с чупырем, / Чупырята вчетвером».

Критик Валентин Курбатов, познакомившись с Михаилом Трофимовым, счастливо подивился: «Я узнал его сперва как мастера диковинных «глинянок» — коснозычно-родных, очень подлинных, смущающе первоначальных. В игрушках было что-то народно-коренное, не русское только, но как будто всеобще первородное — в них узнали бы свое и ацтеки, и скифы, и мифологические шумеры. Они казались не вылепленными сейчас, а найденными в раскопках, и сказать, каких зверей и птиц они изображали, можно было не всегда — это были просто птицы и звери до деления на лошадей, глухарей, коров, оленей».

Размышляющие и рассуждающие о творчестве Михаила Трофимова воспевали природосуеверные языческие начала в произведениях сибирского самородка, но, похоже, ошибались; в творческом духе поэта, даже и невоцерковленного в молодую пору, исподволь жила христианская любовь к ближнему, подобию Божию, к природе, Творению Божию, а имя Христа Бога — любовь…

Впрочем, давным-давно поэт, бросивши в темный чулан избяных, дворовых и лесных хозяйнушек, чародеек и русалок, исповедуется и причащается во храме Божием, и даже сподобился написать духовный стих — «Молитву святителю Иннокентию», ясную и строгую в слове и духе:

«Святый отче Иннокентие, / Ты Господом послан / Стране Иркутской / И увенчан славою на небеси. / Услыши молитву нашу… (…) Буде заступником нашим / На земли и на небеси / И ныне, и в час кончины. / Буде поводырем ко спасению, / Строй спасение душам нашим, / Соблюди и мою убогую душу. / Аминь».

* * *

Смолоду рыжекудрый, петушистый, песельный, баешный, балалаешный, мастер глиняных свистулек, дивно изображенный на холстах живописца Анатолия Костовского, Михаил Трофимов ныне похож на ласкового и потешного деревенского дедка, и, вроде, на Николу Угодника, со старых сельских образов: залысевший… снежные кудерьки топорщатся над ушами… сивобородый, голубоглазый. До пожилых лет Михаил бороды не ростил… огневыми кудрями красовался… хотя друзья-приятели, художники и писатели, смолоду забородатели: в люди вышли — борода лопатой, а он, частушечник румянощекий, лишь весело усмехался,

---

[2] *Чалдоны — сибиряки, жиивущие по берегам Енисея, Ангары и Лены, якобы причалившие с Дона, помешанные с тамошними тунгусами.*

глядючи на заросших густым мохом по самы очеса: «Ох, девки, беда, куды мне деваться, по колено борода, негде целоваться». Приятели спохватились… годы поджали, стариться неохота… обкорнали бороды до богемной небритости, а Михаил наоборот, как молитвенным летам пристойнее, в инистой бороде. И стихи, ныне редкие, построжали, словно осенние леса в предчувствии снега, словно мы, окаянные, но покаянные, в Прощеное воскресенье накануне Вечного Поста.

Нынче и виделись с Михаилом на Прощенное воскресенье… отыграла краснорожая обжорная Масленница, не наша ли с Михаилом… свиделись посреди городища, и брат, елозя бородой по моему лицу, слезно просил прощения; и кажется, после вечерней исповеди и заутреннего причастия полгорода обежал, вымаливая прощения у приятелей и знакомцев. А что прощать, ежли сознательно, сколь помню, зла ближним не творил?!

Обнялись мы братски, и Михаил дальше пометелил по заснеженному городищу просить прощения, да не по летам прытко… эдак в Иркутске еще бегает восьмидесятилетний художник-берестянщик Евгений Ушаков… аж полы шубейки заворачиваются и снег из-под катанок летит порошей. Слава Богу, не берут Михаила Трофимыча лета, и чую, век отсулен ему долгий… у него еще и матушка вживе и в здравии, и сам крепкий… и отпущен поэту добрый век на то, чтобы просеять плевелы и завещать русским внукам, правнукам спелое, чистое зерно.

1980-е годы, 2006 год.